

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

Изд-во «Пушкинского фонда»
Санкт-Петербург
2003

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

т е р ц и н ы

Изд-во «Пушкинского фонда»
Санкт-Петербург
2003

ББК 84. Р7
Б 94

ISBN 5-89803-114-6

© Р. Бухараев, 2003.

ДЕНЬ МЕРТВЫХ
1986

ДРЕВО БОЛИ

«...сходя с ума в начале ноября,
я выдумал себе любовь другую;
мне было страшно, проще говоря.

Открылось мне, что я собой торгую.
Кричали птицы. Муть плыла в глазах.
Ночное, мнилось, утром обмозгую,
но утром просыпался весь в слезах,
без радости, толкавшей встарь под ребра.
Со мною просыпались ложь и страх,
изображая жизнь мою подробно,
как на суде, листающем года,
бубнящем обвинения загробно.

Я обливался кипятком стыда.
Я завтракал вприкуску с пресной скукой,
предвидящей все, всюду и всегда.

Страх — записным вруном, багровым буквой —
сидел во мне, предсказывая тьму,
сугубый реализм в связи с разлукой:
как следствие, тюрьму или суму.
Страх мял меня с утра, как Яхве глину,
переминая прах мой по уму.

Но я был жив еще — наполовину,
хотя душой владел уже едва,
в чем нынче повиниться не премину...

...когда-то я поверил в Деревя.

Во имя этой веры незаконной —
боль-осень, боль-судьба, боль-синева —
листва шептала в Буде законной,
и Древо Боли сутью бытия
забрестило в тумане лжи посконной.

Но я был раб и мальчик для битья.

Вглядясь в отчизну через боль-просторы,
я ужаснулся бездне забытья.

Кто жизнь мою украл, какие воры?
Кем в пустоту втеснен горбатый Страх?
С кем, словно на допросе, разговоры
то о кумирах, то о северах,
то о заборах, то о пуде соли,
то о пирах, то о других мирах?

Неужто нынче не достанет воли
сказать, что только боль во мне честна,
что память человека — Древо Боли?

Стремясь в реальность из дурного сна,
в душе живет предвестье катастрофы.
Но я молчу: жизнь платежом красна.

Дрожа, как тварь, свожу в терцины строфы,
осознавая, что спиральный путь
диалектично кружит вокруг Голгофы,
что нужно жить сквозь оторопь и жуть,
что долог долг, а жизнь жива и лжива,
что чаши не избегнуть — в этом суть.

Туман плывет над Будой, словно грива
языческого гордого коня,
презревшего просторы горделиво.

Я говорю: все сущее — родня!
Но кто я? Разветвленным лабиринтом
стезя от Первозвука до меня
вилась, и тосковать ли об убитом,
забытом в дрязгах с внутренним Бруном
родстве со стрекозой и трилобитом,
когда во тьме грыземся об одном:
о праве — лгать, о честности отчаянья
в миру, что опрокинут кверху дном.

У нас в ходу фигура умолчанья,
поскольку не дозрел еще нарыв.

О чем помыслить, кроме величанья,
когда все мысли подменил порыв,
натужный рев простуженного горна:
под самоварно-праведный надрыв
готовность *быть* исторгнута из горла,
быть вопреки себе и до конца.

Я бывший пионер из Эльсинора,
меня пугала в детстве Тень Отца.
Он, превратив страну в сплошное ухо,
во мне и мертвый воспитал лжеца.

Туманно в Буде, холодно и сухо.
С простором домогаюсь я родства,
но существую немо, слепо, глухо:
страх попирает рабские права.

Всяк сторож брату, и никто не Каин,
все говорят высокие слова,
но от Москвы до самых до окраин
на электричке — полчаса пути,
чиновный временщик всему хозяин,
нам от святых мощей не отойти,
такая тьма и теснота такая,
как будто кто зажал меня в горсти.

— Дай продохнуть! — шепчу издалека я,
ведь дважды в голос крикнуть не посметь.
Однажды я, на свете возникая,
уже кричал, поняв, что будет смерть.
На то, как рассекают пуповину,
в окно глядела белая мечеть.

Я навсегда покинул середину
Вселенной, где хранился до поры,
в пятидесятом, в смутную годину.
Я чувствовал, что все ко мне добры,
еще не понимая, что пространство
раскроено на страны и дворы.

Единственное в мире постоянство,
осенняя сверкала бирюза.
Мечети неприкаянной убранство
сияло в синем честно, как слеза,
как милость, как любовь, как подаянье,
но не тогда я разомкнул глаза.

Дунайских волн штормящих изваянья,
холмы в окне туманны и темны.
Постыдно страха и любви слиянье,
срамно, как посвященье во Вруны.

И мнится мне, что весь Дунай — желанье
свернуть пространство в честь своей волны».

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Таков дневник души. Не важно, чьей.
Советского стажера за границей.
Как явствует из сбивчивых речей,
он окружен венгерскою столицей,
его анкету выясним потом.

За жизнь во лжи нам воздано сторицей.
Отраднo жить в неведенье святом.
Мы выучили впрок во время оно,
усердно проходя за томом том,
что всяк из нас — находка для шпиона.

Куда ему податься? Визави —
Европа, дом Фурье и Сен-Симона,
Утопии, утопленной в крови,
где призрак Мора с головой под мышкой
тревожит книги, радио, TV,
но статус-кво диктуется кубышкой,
пока социализм из тупика
шагает к благоденствию с одышкой,
еще боясь любого сквозняка,
устав от славословий и приветствий:
заманчивость иллюзий велика,
да только, жаль, не лишена последствий.

Кто на себя не тянет одеял —
претерпит все во имя новых бедствий.

Стажер в известном смысле — идеал.
В нем сызмальства созрели убежденья.
Нет, не был, не имеет, не менял,
ни разу не качал права с рожденья,
партсъезды видел в розовых тонах...

Поди ж ты — нынче в лапах наважденья
дрожит мышонком в четырех стенах,
где стали явью тени сталинизма:
совслуж, сексот, генсек при орденах.

Но это все расстройства организма,
болезнь ума и нервный эпатаж;
когда мозги, как лупа или призма,
любую мелочь преломляют в блажь,
диагноз очевиден — ностальгия,
интеллигентский морок и мандраж.

Откуда в нем к неправде аллергия,
когда живем во вражеском кольце?

С ним выхожу на новые круги я
из двери гастронома АВС,
как автор от начала отвечая
за все, что ни отмочит он в конце.

Он кипятком зальет пакетик чая,
в окно посмотрит, стоя у стола,
Вруна в себе как бы не замечая...
Желтеет перед ним гора Орла,
задумчивая, в солнечной оправе,
но Врун визжит, как ржавая пила:

— Кончай хандрить, поговорим о славе.

Она — возможность высказать себя,
поэтому трудись назло потраве.
Всегда учтут, карьеры не губя,
что ты отнюдь не сотрясатель власти.
Ну пожурят, ну высекут любя...

— Я врать устал.

— Опять Христовы страсти!

Куда вдруг понесло тебя, осел?!
Допрыгаешься вправду до напасти.

Язык не одного уже подвел
под монастырь! — У дерева в тумане,
там, на горе, как судорожен ствол,
как воздух липнет к обнаженной ране
существованья, как болезнен крик,
незримый, словно капля в океане
страдания... — Ты чокнулся, старик.
— ...и я в родстве с простором безымянен,
как Древо Боли... — Мыслящий тростник!
— Мне страшно, страшно: я в страданье вплавлен,
я отраженный вопль предзимних птиц,
я хромота хромых...— Ты россиянин,
но слишком выбегаешь из границ
СССР: ты ностальгией скручен,
так и скажи: товарищи, болит-с!
Переключись! — На пение уключин?
Они поют, поют издалека
с песчаных плесов, с островных излучин,
из прошлого, и тянется река
увидеть красный лотос Эстерхана...
Коснуться детства тянется рука,
еще моя душа не бездыханна...
— Ты начал разговор с любви другой,
а сам зовешь отведать вкус махана*?
Там — истина? Послушай, дорогой,
есть повод... м-м, не подберу названья...
за круг семейный заступить ногой?
— Так это что, допрос? — Процесс дознанья.
Национальный крен возник опять,
я ж — правовед из сумерек сознанья...

Беседу автор вынужден прервать,
поскольку в Будапеште жил однажды.
Язык венгерский, следует сказать,
созвучьями напоминает каждый

* Махан — конина (простонародное) (татарск.).

из тюркских, и татарский в том числе.
Он слышал сам в тисках духовной жажды
преданье о языческом Орле,
который до паннонского простора
нес брызги Волги на своем крыле.

Из этой речи всласть испил он скоро,
как из реки, чей искристый поток
струится прочь из тюркского раздора
на Запад, пополняя бурный ток
славянскими, латинскими корнями,
оглядываясь, впрочем, на Восток.

Стажер — татарин, что бывает с нами
как повод русский выучить вдвойне,
но все ж себя мы помним временами.

И это чувство нынче внятно мне,
когда родство похерено врунами
с правами человека наравне.

СТРАННОСТИ

Не странно ли, советский гражданин в заграникомандировке долгосрочной сидит, на взгляд стороннего, один в квартире, что оплачена оброчной повинностью венгерской стороны, всегда неукоснительной и точной, причем карманы иногда полны валюты, приработанной статьями о нравах допотопной старины...

Но это, впрочем, строго между нами, поскольку гражданин СССР, какими б ни располагал друзьями, не волен сверх определенных мер свой труд продать за местную валюту на буржуазный якобы манер.

Привык он быстро к своему приюту, где все, что надо, но уют — в уме. Ведь он не венгр, чтоб чутя сердцем смуту при виде вилл на Розовом Холме ценою в три-четыре миллиона, нечаянно отысканных в суме. Пусть он живет в квартире без балкона, но за окном багряный вьется плющ, цепляясь в стену серого бетона, хрустя, как в коробке скребется хрущ...

Светло и одиноко. Жизнь Адама, прописанного среди райских кущ.

Все было бы о'кей, когда б не драма крушения иллюзий, морок, бред.

Быть может, на него нашлась бы дама,
но то задора, то досуга нет,
так тратят жизнь, уже недорогую,
поскольку фикс-идея застит свет.

Он выдумал себе *любовь другую*,
подумать только, к Истине нагой!
В дугу не мог согнуть хандру тугую;
за письмами в посольство, как изгой,
входил, и сердце в бедном трепыхалось,
что твой карась, пробитый острой.

Во мне он поначалу вызвал жалость.
Когда уходит почва из-под ног,
любая милость власти все же малость,
тридцатых и сороковых итог;
легко ли отучить интеллигента
входить в госучрежденье, как в острог?

Но надо чують значимость момента!
Теперь-то, слава Богу, нет препон.
Ведь гласность. То статья, то кинолента
твердят, что есть в отечестве закон,
но все же в каждой проповеди правды
нам долго будет чудиться Гапон.

Чего в нас не осталось, так бравады.
Но закисать негоже все равно.
Ведь мы любому послабленью рады.
А что б стажеру не пойти в кино?
Не сосчитать киношек в старом Пеште,
но между тем и в Бude их полно.
Программа, как меню, богата: ешьте
глазами фильмы всех концов земли,
замаянную душу распотешьте,
особенно когда вы на мели,
на выбор — секс, космические страсти
или кун-фу в траковке Брюса Ли.

Но синема и быт в крутом контрасте.
Одно полезно — насмотреться впрок,
в бессонницу прокручивая части,
чтоб мысли отогнать покруче вбок...

А что б стажеру не спуститься также
вниз по ступенькам в винный погребок?
Здесь не стоят у трезвости на страже,
как в наших многоуказных краях.
Давно мы ничего не зрели гаже,
чем рабская возня в очередях,
чем равенство перед бутылкой водки
людей рабочих и похмельных рях.

Утешны статистические сводки
за счет — опять же — униженья масс,
которые так пред указом кротки,
что вырубают лозы напоказ,
ссыпая прах в священные марани*,
как будто совесть отменял указ.

Да сколько ж в душах накопилось дряни,
чтоб нам любой из местных держиморд
указывал места среди пьяной рвани?
Чьим промыслом злокозненным народ
в достоинство возвел свое терпенье?
Стажер меж тем в рот капли не берет.

По радио то разговор, то пенье:
вот метод изучить чужую речь,
за чаем перенять произношенье,
но вечер одинокий — время встреч
со страшным двойником в пространстве гулком.
Когда субботний день успел истечь,
кто предпочтет постыдный страх прогулкам?
Болезнь души не любит полумер.

* Марани — гигантский кувшин для хранения вина (груз.).

Пройтись по древним пештским переулкам
или дойти до Костолани-тер*?
Второе не в пример стажеру ближе.

Любил и автор этот мирный сквер,
где озеро и жимолость. Иди же,
герой, туда, садись в тени дерев
на берегу, который много ниже
террасы ресторана, и напев
там странен — тексты Дёже Костолани
деревья повторяют нараспев.

Ознобный холодок вечерней рани,
прозрачной ночи золотой канун.
О вязком прошлом думать перестань и
забудь, что душу сгорбил, как горбун,
довольно нынче страхам отдал дани...

Он вздрогнул — рядом примостился Врун.

* Kozsztoláni-tér — площадь Костолани в Будапеште.

ТАТАРСКОЕ ЭГО

Да, осень в Будапеште хороша,
но с ноября заводятся туманы...

Об октябре запомнила душа,
как хлопаются об асфальт каштаны,
как колется колючая броня,
как, пробуя на миг достичь нирваны
в прозрачных волнах солнечного дня,
сливается, синяя, пламя неба
с последками зеленого огня...

В названьях площадей звучит потреба
не позабыть поэтов имена.
Поэзия в веках дороже хлеба.
Поди, грядут в отчизне времена,
когда вождей обожествлять не будем,
как дикие какие племена...

Важна здесь площадь Костолани людям,
как площадь Блока (продолжай без «др.»)
важна Москве, не то себя забудем,
зачитывая Ленина до дыр,
сочтя, что в человеческом обличье
он — бог и в одиночку создал мир.

Отечество, как не терять приличий?
Наш выбор прост — болтун или тиран,
сего хватает на Руси в наличье,
да, впрочем, в каждой из соседних стран.
Так вот, октябрь, говорю, прозрачен,
а с ноября туман, туман, туман.

Стажер угрюм. Субботный день истрачен
на суету смущенного ума,
где суть погребена среди пустячин.

Во внутреннем кармане два письма,
и Врун с ухмылкой на зеркальной роже
глядит многозначительно весьма.

Вверху в цыганской фирменной одеже
пиликает оркестр. Молчат цветы
у памятника Костолани Дёже...

— Итак, Стажер, мы встали у черты.

Как правовед из сумерек сознания,
дознаюсь, в чем причина маеты,
важны для дела эти показанья.

— Тогда подшей, что из вседневной лжи
сбежал в средневековую Казань я...

— Да боже ж мой, все те же миражи!

Зловредное влиянье заграницы
в сознание оживляет муляжи,
выводит привидений вереницы,
они уже не держат интервал!

Вот озеро, в нем отразились птицы —
и все? Но это карстовый провал!

В нем, как в национальном самомненье,
во веки дна никто не доставал!

— Но право на тактовку и сомненье
неужто атрибут верховных каст?

— Лавировать здесь надобно уменье,
здесь важен догматический балласт,
чтоб двигаться устойчиво и чинно.

В шторм рулевой штурвала не отдаст!

В чем, между нами, главная причина
печали? В торможении родной
татарской речи тайная кручина?

— Да, в речи тоже, но не в ней одной.

Хотя за то, что языка не помню,
мне вечно стыдной мучиться виной.
— И это — повод лезть в каменоломню
рубить окаменевшее дерьмо?!
С тех пор как Сталин в руки взял стило, мню,
все как-то приключается само.
Кто сбил тебя с копыт, какая новость?
— Я получил от матери письмо.
— Какая же такая в нем весомость,
испортившая напрочь вечера,
потрясшая твои мозги...
— И совесть.
В нем повесть поколений — шаджара,
по-русски сиречь: Древо Родословий
с тринадцатого века до вчера...

...Чтоб избежать в терцинах суесловий,
скажу: татарских летописей нет
во следствие таинственных условий,
в *тюрьме народов* проведенных лет,
когда судьбу поверженного царства
определял имперский кабинет.

Век мятежей, за ним два века рабства
без письменной истории, впотьмах,
когда, внедряя силой христианство,
пытались пыткой вытравить в умах
самосознание, память о культуре,
державности эпического размах.

Об этом не прочесть в литературе,
об этом мы с опаской говорим
в угоду исторической халтуре.
Россия превращалась в Третий Рим,
как будто это служит оправданьем...

Но дух народа впрямь необорим.
Забитая наследственным страданьем,

сведенная в сословие хамья,
дань пращурам и родовым преданьям
в долг возводила каждая семья,
ведя посильно запись родословью...

Семь поколений мог бы знать и я,
но дальше деда все замыто кровью:
с него ввели анкетную строку
вести учет людскому поголовью.

— ...Давно перемололось все в муку,—
заметил Врун,— подобное наследство
способно хоть кого вогнать в тоску.
Но мы его используем как средство
промыть мозги, где рядом с верой зрю
сомнения крамольное соседство...

Сойдем по Древу в пику ноябрю,
который гонит в сны туман и детство,
неволит в злых слезах встречать зарю...

СПИРАЛЬНЫЙ СПУСК

Как из проступка вырастает Суд,
так прорастает суть из разговора.
Пока беседу двойники плетут,
сойду и я до пятницы Стажера,
как в молодости нисходил своей,
почти на ощупь, средь взрывного вздора
заполонивших башню голубей
по внутренней спирали минарета,
завещанного Богом от скорбей.

Оттуда, где звучал призыв рассвета,
куда взбирались отверзать уста,
такая — в листьях, как обносках лета, —
щемящая открылась нищета,
что впору было изойти рыданьем,
когда б не злая наша простота.

В зеленых купах, за тюремным зданьем,
я разыскал глазами дедов дом.
Утешен этим призрачным свиданьем,
чувств остальных не занимал трудом
над городом почуять горечь рока,
постигшего Гоморру и Содом.

Окраина, прибежище порока,
вселенного насильственно в дома,
ничем не заслужившие попрека,
зияла мне: в дом деда, как чума,
селились алконавты, урки, бомжи,
а рядом испокон была тюрьма.

Бог им судья, мы сами не вельможи.
Но огород давно уже зачах,

дом, дровяник и двор с трущобой схожи..
...а голуби шарахались в лучах,
закручивая в смерч соринки пыли,
лежавшей сорок лет на кирпичах...

...Туманы ли ноябрьские, сны ли,
пророчествами темными соря,
вспять по теченью времени поплыли...

Но в пятницу с утра была заря.

Туманы скрылись в будапештских парках,
пережидая время втихаря.
Блестело солнце на зеленых арках
моста Свободы, где гремел трамвай...
Все было как на негашеных марках:
и вид на гору Геллерт, и Дунай,
и небеса, и праздник хлебосольства,
и солнце, как осенний каравай.

Стажер, однако, ехал из посольства.
Давило шею галстука ярмо,
но не было причиной недовольства:
тому служило поводом письмо,
желанное, как дар данайцев — Трое,
как абитура с улицы — МГИМО.
О чем оно, стажерское второе?

Он ехал в предвечерние часы
в себя глазами, словно в паранойе,
не глядя на дунайские красы,
поскольку там, вовне, пришли в движенье
добра и зла застывшие весы.

Он знал в себе и это напряженье:
как бы шурупом ввинчиваться в мрак,
к душе тупой теряя уваженье,

которой в мире этом все не так,
когда ее ничто не мучит злее,
чем самосохранения пустяк.

Порабощая душу тем вернее,
зеркальный Врун на время умолкал,
чтоб ненароком не словить по шее.

Трамвай заверещал близ голых скал,
но застило письмо глаза Стажеру:

«...ты мною слишком долго помыкал,
я слишком долго привыкала к вздору...»
Затем обычный перечень обид,
ей причиненных в ту и эту пору,
обязанности ставятся на вид,
указы — где бывать, как быть одету,
а после вопль души: заездил быт!
Семейное письмо звало к ответу,
кончаясь так: «...живешь — кум королю!
Купи колготки и копи монету».

Все было мило, да свелось к нулю.
Жизнь очень быстро проиграла гамму:
люблю — сулю — велю — молю — скулю!
Девица скоро превратилась в даму,
перед которой муж кругом в долгу.
Уйти бы прочь, но «МАМА МЫЛА РАМУ»
читал малыш, и гонор — ни гугу.
Потом привык, что инвалид к безножью,
потом заноза завелась в мозгу,
мол, свары терпит, словно кару Божью...

Но на весы ложился вес минут,
отмеченных единоборством с ложью,
попыткой избавления от пут:
душа, как в штопор, ввинчиваясь в морок,
была и тут подвигнута на бунт.

Кто в первый раз, когда уже под сорок,
вершит спиральный спуск на дно души, —
безумен, но в самом безумье зорок,
чтоб мерить самолюбье на гроши.

...от пятницы он спрятался в субботу.
Над озером шуршали камыши,
и Врун преуспевал в крутой работе,
стараясь в ходе следствия поймать
Стажера на сентиментальной ноте:
— ...сойдем по Древу родовому вспять,
вживемся в исторические роли,
ведь этого, скажи, хотела мать?
Все пращурьы — из перекатной голи,
крестьяне или пролетариат,
да если и не так, бояться, что ли?
Сын за отца не отвечает, брат!

— О Русь моя! Жена моя! До боли...—
Стажер ответил вовсе невпопад.

ВЫШЕГРАДСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Куда как сложно движется сюжет
витком древесной годовой спирали,
но, если жить, пути другого нет.

Уж как вожди дорог ни выбирали,
о чем-то беспрерывно говоря,
но всякая стезя — в обход морали —
упорно упиралась в лагеря...

Как выбраться из нравственных развалин,
скот и людей не мучая зазря?

Когда б метель не замела проталин
в шестидесятых! Разве он один,
который Vana Tallinn в Vana Stalin
перекрестил бы в честь своих седин?
Он только выжал джинна из идеи,
как из волшебной лампы Аладдин.

Кому охота в явные злодеи?
Под видом фарса повторить вольны
трагедию другие чародеи,
в игрушку географию страны
вновь превращая с легкостью такою,
как в Брежнев — Набережные Челны.

Язык сломаешь этакой строкою!
В гробу перевернулся б скорбный Дант,
но тень его принадлежит покою.
Ее теснит афганский наш десант,
меня толкая под руку, и в строку
влезает бывший вождь — и сбоку бант!

Стерплю и это, как терплю мороку
масс-медиа, где вкус диктует чернь
от книг до металлического року,
хоть всех в кожанки с клепками одень...
Блаженны, Отче, плачущие, ибо —

День Мертвых пал на следующий день.

Промаяться над рукописью либо
податься в Вышеград — из Пешта вон?
Пусть для господ из Вены и Магриба
паломничества кончился сезон,
решил Стажер пожертвовать делами,

и через час глядел с парома он,
как тянется закрученный узлами
Дунай, и обреченная листва,
шепчась о муке жизни прасловами,
краснеет и желтеет... Синева
клочком над мощью вышеградских башен,
и горный кряж, как царская глава,
венцом из башен в небесах украшен,
короче, Замок-Облак, Феллег-Вар,
который нынче никому не страшен,
поскольку ни татар, ни янычар, —
венчает над излучиной Дуная
воздействие извечных горных чар.

О, горы от Алтая до Синая!
Они лесами шепчут нам всерьез,
что вправду существует жизнь иная,
где несть ни воздыхания, ни слез:
там брезжит в дымке Берег Откровенья,
но дорого берут за перевоз...

По Венгрии был День Поминовенья,
день Истины, единственный из дней,

когда выходят тени из забвенья,
и оживают голоса теней
в заупокойных звонах колоколен...

Молчанье наших мертвых тем страшней.

Путь к самому себе всегда околел.
Едва взялась рассеиваться мгла,
мир оказался так многоуголен,
что стало пусто во главе угла.

И Вышеград не оградил Стажера,
хандра его повсюду стерегла.

Во тьме души, по степеням позора
всех — без различья веры — крестный путь
вел — и брели, не поднимая взора,
да и теперь бредем куда-нибудь,
как перволюди, в помыслах о пище,
сквозь ложь, сквозь недоверие, сквозь муть,
и совесть, словно Йов на гноище,
все вопиет к межклассовым борьбам
в позоре за родное пепелище,
в презрении к отеческим гробам,
в беспамятстве, рядящемся под память,
в неистовстве, присущем лишь рабам...

Но где исход? Неужто словом ранить
нельзя во лжи завитую жгутом
измаянную честь, неужто править
потребен вождь, чтоб сызнова — кнутом?

Когда б хоть Мертвым не глядеть оттуда,
как ты себя равняешь со скотом...

Как ни отчайся, не случится чуда,
когда замяли душу ложь и страх,
и Врун сказал: — Ты сам себе Иуда. —

Стремительно смеркается в горах,
особенно когда ноябрь начат;
в сырых и багровеющих лесах
прозрачный, чистый, сумеречный, прячет
свет сам себя; уныло одному...
Но тут Стажер услышал: кто-то плачет,
и зашагал на плач почти во тьму,
как в сумерки угадывает берег
челнок, чутью послушный своему.
Туристка вроде... — *Bocsánátot kérek,*
mi baja van? — A fejem úgy szedül...

*Nem vagyok idevalósi, nem merek
lemenni a sötétben egyedül.
A busz elment. Az utolsó... — Hát, mire
vár itt, most gyerünk együtt!** —
Взор косуль
так влажен, если мир почиет в мире...
По серпантину к берегу реки
они сошли — вдвоем дорога шире.
На кладбище мерцали огоньки
свечей... Прервусь — подобна златогире
Печать Господня на цифирь строки.

* «...Прошу прощения, что случилось? — Голова кружится... Я нездешняя, боюсь спускаться в одиночку во тьме. Автобус ушел... Последний. — За чем дело стало, пойдем вместе!» (венг.).

ЗАСТУПАЯ ЗА КРУГ

Темно и сыро, скудно, Боже мой!
Порой нахлынет — впору удавиться,
податься к Мертвым, что к себе домой,
да где мой дом? Кругом чужие лица,
и длится мысль, что в замкнутом кругу
правдив и честен лишь самоубийца.

Солгу себе, но Мертвым не солгу.
Бьюсь о границу светового круга,
чтоб карасем не сесть на острогу,
хватая воздух жабрами с испуга...

Такая вот рыбалка с фонарем,
где свет подлей, чем тьма: куда как туго.

Премудрствуй карасем, скользи угрем,
в застойном водоеме все не диво,
неужто быть начнем, когда умрем?
Кто высекает искры из огнива
под шепоток азартный: «Посвети!»?

...о том, что незнакомку звали Ёва*,
само собой узналось по пути...

Дорогу к дому укажи мне, Боже!
Огромен мир, да некуда уйти.

...мила, почти красива, но негоже
о девушке судить по форме глаз.
Стажер, что на мужей, увы, похоже,
почти влюбился, уж в который раз,

* Ева (венг.)

но нынче неприязнь к жене нелепо
с мятежным правдолюбием сплелась,
и он, за круг свой заступая слепо,
так вздумал выдрать из души Вруна.

Кресты. Надгробья. Горельефы склепа.
Распывчатые свечи. Глубина
осенней ночи за чертой свеченья
огней дрожащих. Сырость. Тишина.

Для *Ивы* не кончались огорченья:
на поезд в Эгер не поспеть никак!
Не избежать вокзального мученья...
Стажер, конечно, предложил чердак,
пока автобус мчал из Вышеграда
до Будапешта сквозь туман и мрак...

Куда податься? И сама не рада:
шли вниз, стихи читали, да к добру ль?
Советский гражданин не корчил гранда,
но все ж ни разу не упал с ходуль,
пребыв на высоте, а документы
вооруженный просмотрел патруль.

Бывают в жизни всякие моменты!
Чай закипал. Сервировали харч,
на каковой достало скромной ренты:
все в Будапеште дорого, хоть плачь,
зато всего полно за те же деньги,
с какими ты в Москве уже богач.

Инфляция не обещает неги.
Для нас меж тем венгерский вариант —
как перепрыгнуть в шарабан с телеги;
не тянет квазинэп — помилуй, Дант! —
уж если прыгать, надо прыгать разом,
чтоб лжемарксист, комлодырь, соцпедант

враз поперхнулись холостым указом,
скривились от хозяйственных микстур,
чтоб заикнулись по цековским хазам
хоть раз от диких аббревиатур —
НИИ, спецхрана, культполитпросвета,
собеса, загса, нацлитератур...

...про Костолани, помянув поэта,
поговорили Ива и Стажер,
а после он — едва отметив это —
о шаджаре затеял разговор:

— В седьмом колене? При Наполеоне
был в рекрутах, а плотницкий топор
оставил сыновьям, добрел в погоне
за армией французской в Дрезден, где
близ Эльбы вскоре опочил на лоне
Саксонии, а не в родном гнезде,
среди его потомков тоже редки,
кто жизнь в железной удержал узде...

— Так, значит, за границей жили предки? —
спросила Ива, и помстилось вдруг
в ее глазах всезнание правоведки:
как говорится, из-под черных дуг
кольнула сталь, но этого озноба
тот не поймет, кто не ступал за круг.

Да полно! Неужели же до гроба
положено бояться стукачей?!
Знать — друг заложит и продаст зазноба,
соревноваться с ними — кто ловчей,
да будьте кляты! — от Ухты до Кушки,
от Пешта до Пхеньяна я ничей,
ни в игроки не годен, ни в игрушки,
по уложеньям Бога и людей
преступен тот, кто ставит нам ловушки
во имя власти, именем идей.

— Чушь! Тень Отца! — услышал Врун, который все время рядом терся, добродей...

Стажер, поверив Иве каждой порою,
ей рассказал про прадеда в плену:
сметенный первой мировую ссорой,
он в лагере долеживал войну
под Эгером — там был татарский табор...
— Égerben? — Hát, valóban*...— Время сну,
но вспомнился тюрколог Балинт Габор,
гулявший по Казани век назад,
за Жужей Конц рок-группа «ZI-ZI LABOR»,
Аттила Йожеф, Ади, рай и ад,
на ум не шли ни связь, ни грязь, ни похоть:
ложились порознь, как сестра и брат.

Стажеру не спалось: снаружи грохать
полночные взялись грузовики,
потом заныл к стене прижатый локоть
от холода, поплыли огоньки
свечей Дня Мертвых и туман; добро, хоть
не предал самого себя с тоски.

* В Эгере? — В самом деле так... (венг.)

КРУГ СЕДЬМОЙ

Свеча плыла. Пряденым серебром
тускнела седина в кудрях подробных
литвина, хлопотавшего пером...

Где напасешься шляхтичей подобных,
примерно трезвых, правильных в письме,
раздумчивых, как средь теней загробных?

Зеленая Литва, и ты во тьме!

Борзой зевнул — раздвоил пасть, как аист.
Моргай! одна охота на уме!
Ужо — пороша ляжет: слышишь? Каясь,
что высекла дубраву без вины,
легчает осень к ночи... Снег нахрапист —
залапит замки рыцарской страны,
костел обрядит в митру иерея...

Блится высь тонзурою луны.

— Стажер, мы где? — От робости дурея,
сразу времен распавшуюся связь...
Неужто, Лгун, ты не узнал Андрея?
— Что? Працур эмиграций русских, князь,
средневековый Чаадаев, чур нас!
— Не бойся, Врун, он не предвидит нас.

Вновь ближе к ночи поминалась юность.
Ломило холку, ныли кости плеч...
Храпел за дверью местный смерд Арунас.
Все погребом тянуло. Мнилась печь.
Вдруг, раскусив кислицы доброхотства,

по-матери порыгивала речь.
Просвистывало сквозняком сиротства
до косточек младенческих... Нельзя!

Князь Курбский — рыцарь, образ благородства.
Родство с Андрюшей — скользкая стезя:
припомнишь мамку — аж сожмутся зубы,
как бы с мороза клюкву разгрызя...

Ливония — не Русь, да нравы грубы:
раскиснешь — даст под жопу конь судьбы!
Захрюкают вокруг герольдов трубы.
Тупые захихикают рабы.

Оно бы ничего, но Иоанну
над срамом сим да не кривить губы!

Андрюшка мертв, но Курбскому — осанну
поет Европа, се великий муж!
Он сотворил Россию осиянну
венцом Казани, он осилил ту ж,
доселе под копытами змеится
Зилант, казанский Змий, живучий уж!

И саблей, и пером славна десница,
сильна, по-русски праведна, горда!
Соблазн есть Аристотеля страница,
забиться бы в премудрость, да куда!
Водителя судьба бросает в рати,
рвет, словно конь татарский, повода!

...Дуб вотчинный — горчайший желудь. В тати,
ливонский пес, католик, царский вор?!
Пресветлая, Россия, где ты, Мати,
аз тя зову, Андрюша, светловзор!
Душа уходит в самые печенки,
один я, дозовись и рядом стань,

горсть мерзлой клюквы отдели в ручонки,
по снегу отведи на Иордань,
под босы ножки постели соломки...
Андрюшка умер. Курбский взял Казань.

...как девка, вся в соку, у водной кромки
томилась — будь ты мужиком, возьми!
Бесился крымский комонь брата Ромки,
хотелось так, что сладко лечь костыми,
за крепостными стенами, нагия,
белели груди Кулшариф-джами...*

Да разве набивался во враги я?
Когда вошли — в мужском поту, в пыли, —
как мудрствуют латинцы, алегрия,
а паче радость льстила там, вдали;
та, и по виду наша, билась птицей,
светла и большеглаза, — мы вошли
в Елабугины через ров Тезицкий,
все в набрызгах своих-чужих кровей,
пробились в Кулшариф — честной страницей
летит, вспорхнув, казанский воробей
с кусочком человеческой плоти в клюве...

О Мати, в чистой горнице Твоей
упал Андрюшка, поскользясь на клюкве,
отмой с ладошек этот красный сок!

Перо помедлит на славянской букве.
Берестяной просыпан туесок.

...и бились все абазы и сеиды,
закрыв соборный храм, и видел Бог,
как храбро пали книжники-шакирды,

* Историческая мечеть (джами) в Казани, где верховным муллой был Кулшариф.

сам главный бискуп, Кулшариф — мулла;
вокруг дворца пылали, словно скирды,
дома, и взоры застила зола,
пока остыли уголья, алея,
Казань была разграблена дотла,

скарб волокли обозники, шалея,
пока рубился на стене Роман,
и резали татары Шигалея
без жалости своих же бусурман...

Поход Казанский паче Грюневальда!
Где Русь — там для католика туман.
В латинских землях не сыскали скальда
воспеть Казанку — русский Рубикон,
но с этих мест мы не сводили взгляда
от Куликова поля, испокон.

Казань мы взяли, как ордынку в жены,
да Иоанну отдали в полон...

Едва от мертвых опростали стогны,
царицу увезли, взорвав собор,
он всех казанцев с присными под стоны
погнал наружу — обживать простор.

— Ана*! — кричали чада обреченны...

— И пращур мой,— сказал себе Стажер.

* Ана — Мати.

ВОСТОЧНОЕ ПИСЬМО

Дух корчится по сорок раз на дню,
дух мечется от благочинья к вздору.
Обедню порчу — вечность обедню
что мне Стажер — что я ему, Стажеру?
Того гляди в родню набьется мне,
ступая босиком по коридору
на кухню в заполночной тишине,
где буруном штормящего бессмертья
гора Орла вздымается в окне.

Во времена сплошного беспозья —
как некто возопил, утратив слух,—
на улице Москвы Стажера встретить я,
прошел бы мимо, так же слеп и глух,
реального дитя социализма,
да, слава богу, дважды спел петух...

Мы все родня по слепоте трагизма;
манила нас в завещанную даль
возможность жить в себе, святая схизма,
с которой, право, расставаться жаль,
но вот возможность действия прямого
в готовности застала нас едва ль...

Искать родню — как домогаться крова,
когда вокруг чужбина для души.
Но если и отечество... — ни слова!
Мы были слепы — этим хороши,
вкушая раз в сезон родство и братство,
как тещины блины и беляши.

А Габор Балинт — смог в кулак собраться,
хоть и сейчас, не тратясь новизной,

того не ценит ни одно аббатство,
кто с тюрками считается родней.

Он видел красный лотос в Эстерхане,
как молвится, у Бога за спиной...

Закатный лотос в розовой нирване,
вспять на столетья от горы Орла,
забвение сиротства в злом тумане,
вспоминанье воли и седла,
которое ревнивый дух мадьяра
буравит хуже всякого сверла.

Он видел и Казанку с крутояра,
на коих древле строили кремли...

...не зная мук и строк Мухаммедьяра,
певца омусульманенной земли,
убитого при взятии Казани...

...не ведая сказаний Кул Гали.

А этому зачем не отдал дани?
Поэт восьмисотлетний, хоть и стар,
пришел в Казань из доказанской рани,
пришел, как все татары, из болгар.

...затем, что, как объект языкознанья,
ему лишь тех представили татар,
кто, счастливо избегнув обрезанья,
в церковный причт стремил свои стопы,
а также гололобые созданья
готовил в служки, дьяки и попы:
короче, в круг новокрещеной школы
миссионерства местные столпы
от происламской грамотной крамолы
сокрыли гостя из австрийских стран.

В том круге отпадения и расколы
смущали мало — пуще ресторан,
где в восемьсот семидесятом, кстати,
уже всю отсутствовал Коран.

Стажер вернулся на свои полати.
Спит Ива. За стеклом шуршит листва.

Но автор — фиты, ижицы и яти
не обходя — сквозь чувства и слова
шагает вспять по перечню изъянов,
которым нынче жизнь его жива.

Жил-был татарин Яков Емельянов,
натальным с детства дорожил крестом,
в Казань подавшись от своих баранов,
стал дьяконом, поэтом быв притом;
с ним запросто мог встретиться тюрколог,
хоть в письмах и не сообщил о том.

Путь в греки из варяг не так был долог.
Издrevле мурзы в русские роды
тащили знатность, как ладью за волок,
сыскав, где глубже, за свои труды,
так мне ли суесловить в православье
вошедших во спасенье от беды?

Кто верует — в том живо благонравье.
Совместно исповедованье вер,
как в небе Кулшарифа осмиглавье:
Святой Пафнутий Боровский — пример.
Как дед баскаком был новокрещенным,
так сам он во Христе превыше мер.

Теперь с вопросом, прежде запрещенным,
как быть — лишь дважды пели петухи?

В Казани в прошлом веке просвещенном
от церкви Яков издавал стихи
на современном шрифте совтатарском,
изобретенном на манер сохи
для перепашки по крутым указкам
земли, где, за столетья укрепясь,
культурным знаком, на глазок не баским,
восточная произрастала вязь.

Неужто удалось миссионерам
навек порушить меж веками связь?

Что было исключительным примером,
теперь святое правило письма...
...а Габор Балинт оставался венгром.
В посланье, полном такта и ума,
писал:

«...ősz van; sókat sétálok gyálog,
az iskolában újra voltam ma...
Megleltem azokat, kik voltak nálunk
(sic!) négyven nyolcban...»*

Вот какой педант!
В ряду пословиц, песен и считалок
он помянул-таки интердесант,
не зная, как по меркам нашим жалок
жандармского мундира аксельбант...

* «...здесь осень; я много гуляю пешком. Сегодня сызнава был в школе... Встречался с теми, кто побывал у нас (Sic!) в сорок восьмом... (венг.) [В 1848 году русские войска подавили венгерское народно-освободительное восстание, и венгры это помнят до сих пор.]

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

«...поймешь ли ты? — Вначале был Глагол.
Так по-венгерски говорит Писанье.
Тружусь, как вол, как лошадь, как осел,
не во спасенье даже — во спасанье
души горбатой, согнутой в дугу:
ей нестерпимо истины касанье,
врать здоровá и другу, и врагу,
бежит от правды, словно от недуга,
на каждом спотыкается шагу...

Ей как-то нужно выбраться из круга
в другое время действия, в бега
от шепчущего на ухо испуга,
с чем всякая потуга лишь туга.
Возможность быть сейчас — иголка в сене,
но ими наштигованы стога.

Вскипело, накипел,— слышать по пене,
что, лопаюсь, лопочет с краем всклень:
плебс громче чает зрелища на сцене,
несчастный люд, чей мозг изгрызла лень.

У нас всегда вначале было Имя,
с царя Гороха по вчерашний день.
Любое Имя с присными своимя
народ низводит в чернь, рабов, служак;
а чернь у государства ищет вымя:
ей что Господь, что лайковый пиджак,
что гласность, что порнуха — суть единая,
была бы водка, баба и лежак.

А чернь повсюду ищет господина,
тот и начальник, у кого батог...

Но — отошла железная гардина,
собакой не уляжешься на стог,
все так же властны областные князи,
но пена — льдины тающей итог:
за пятилетки столько смерзлось грязи!
Но — с каждым днем все шире полынья...

Я с прошлым восстанавливаю связи,
разорванные рвением вранья,
упорно нисхожу по Древу Боли,
чьи корни ложь подрыла, как свинья;
дизеи в жизни реже, чем бемоли.
Возможно, со своим Вруном в борьбе
кому и наступаю на мозоли,
но — нисходя — я восхожу к себе,
к своей горе Орла, к своей Голгофе,
к своей природе и своей судьбе.

Колготки я тебе купил. И кофе.
Успех в работе невелик. Но есть.
Поклон Алмазу, Бухареву, Софье,
да всем, кого по пальцам перечесть!
Пока».

Постскриптум. День Поминовенья.

«...пишу заутро. Ветер, словно весть
с горы Орла, как знак преодоления,
лист налепил на бледное стекло.
Ведь истина исходит из стремленья,
как страсть, с какой меня к тебе влекло
ежесекундно, ежечасно, вечно,
так наше время разве истекло?!

Бессмертие — оно стремится встречно
к тому, кто не боится пустоты,
но гибнет в круге робости увечно

тот, кто страшится призрачной черты,
ведь прозвучал из ничего вначале
Глагол, которым живы я и ты.

Печаль не в том, что, числясь на причале,
мы отмечали неоглядность вод,
хоть удавись на отческом мочале,
но тайных не сыскать в миру свобод!

День Мертвых, слитно возроди нас Древом —
Глаголом неописанных пустот!

Как Имя живо собственным сугревом,
раскалывая Древо на дрова,
так сущ Глагол огнем, любовью, гневом,
так жизнь желанным действием жива.

Но повтори за мною в память Мертвых:
боль-осень, боль-судьба, боль-синева...

Ни первых нет, ни третьих, ни четвертых,
всех помяну я, свечку засветя:
отмоленных, отпетых и оттертых,
чтоб Именам не застили путя,
хотя б за то, что в каждом прежде смерти
жил дух, как обреченное дитя.

Я — с Мертвыми: и длятся встречи эти,
во всех кругах я предков помяну.
Когда взрывали церкви и мечети,
в Казани мне оставили одну,
ту, что сдержала небо белоствольно,
во мне посеяв счастье и вину.

Ведь истина нагая — в том, что больно,
что отобрать — как с мясом оторвать,
в том, что отчизны зачинает лоно,

когда в крови стремится рать на рать,
что как безумье гонишь, как отчаянье,
оно же возвращается опять.

Весов добра и зла черно качанье,
но мне бояться — как любить Вруна.
Насильное свершается венчанье,
но лепится потом к стране страна,
впоследствии не отодрать без краха...

Жена моя! До боли ты жена!»

Деревья зашумели, как от взмаха
над городом простертого крыла...
Проснулась Ива без стыда и страха,
оделась, попрощалась и ушла.
Стажер взглянул в окно — плыла в тумане
гора Орла, за желтизной бела,
похожа на волну Дуная в камне;
и снова занималась круговерть,
но страха больше не было в обмане.

Врун было начал: «Нужно посмотреть!
Еще с души не все сошли лавины...»

Но автор свой роман прошел на треть,
земную жизнь пройдя до половины.

1986–1988

Будапешт — Казань — Москва

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ
1991

СОТВОРЕНИЕ МИФА

Пора бы рассудить начистоту:
нуль — не умножить возведением в кубы.

Зеленый блеск в тропическом цвету
(зимой, среди социализма Кубы,
блзнящей жаркой свежестью цветов,
пунцовых, словно негритянки губы)
затмит глаза, и ты уже готов
вечнозеленым любоваться деревом,
самозабвенным праздником кустов,
карибским буруном и нежным небом,
враз позабыв облезлые дома,
звон лозунгов и очередь за хлебом.

С ума не соскочи: вокруг — зима.
Когда бы на Кубань — такое лето!

Майами за проливом, что чума,
на рассужденья налагает вето:
как говорится, будем гнуть свое,
и, как один, умрем в борьбе за это.

Сознание — загубило бытие.
Как истина зеркальна в звучной фразе!
Вот — *масса*, много ль проку от нее?
Прок вызреет потом, в *рабочем классе*,

ну а пока, сменив — ¡NO PASSARAN!* —
кругом чернеют надписи — NO PASE**.

* Они не пройдут! — (испанск.)

** Хода нет. — (испанск.)

— А есть нам дело до заморских стран?
До негров, венгров, разных прочих шведов?
К самим стучится голод, что таран:
хлебнули б с наше тифа да комбедов,
да голодухи, да войны, да лаг...

Блажен, кто не постиг Единства Боли.
Ему и материк — архипелаг.

Едим лишь то, что сами намололи...
...а запахов тропический замес
шибает в ноздри, как аэрозоли,
к пейзажам вызывая интерес:
вот где экстаз и грозы цветобуйства!

О самой первой из латинских месс
гаванский храм изящного искусства
сберег сюжет, где Христофор Колумб
внушает дикарям святыне чувства
на главной, право, из Господних клумб,
плывущей — гроздью звездного пространства —
прародине мулаток, самб и румб,
где нет еще ни воровства, ни пьянства.

На острове уже поставлен Крест.

Отстаивая мира постоянство,
к созвездьям воздевая смуглый перст,
язычник злой с аббатом спорит ярю!
Ужо, оставив благодать сиест,
Кортес и христианнейший Писарро
наедут разрешать ученый спор,
чтоб на века не затянулась свара.

— Эй, ближе к дому! — нарастает ор.
Чтоб автор для открытия Америк
не заезжал так часто за бугор,
его бы разом — на чукотский берег!

Как будто боль смирней при свете льдин...
Пускай Колумба нам заменит Беринг,
индейца — чукча, но сюжет один:
самодержавье не без интересу
и золотых не знает средин.

Д. И. Павлуцкий¹ даст очко Кортесу
по части укрощения людей,
служа молебен, — как служил бы мессу, —
в краю песцов и белых медведёй,
туземцев назначая в инородцы,
сколачивая братство без гвоздей...

О Господи! Народы и народцы
суть братства — в кровной общности беды!
Так походя заплеваны колодцы,
что неоткуда взять живой воды:
на кирпичи весь мир смесив, как глину,
Льстец мира гордо взялся за труды...

...земную жизнь пройдя наполовину,
я слышу в криках океанских птиц,
как вокруг земли — от Кубы к Сахалину, —
вздымаясь к звездам, ниспадая ниц,
гудит, рычит, рокочет, как цунами,
страдание без наций и границ...

Есть равновесье боли между нами,
Единство Скорби и Родство Вины.
Как дерева, цепляемся корнями,
чтоб не сорвало бешенством волны:
удерживая почву, и деревья
различны в кронах, но в корнях — равны.

В рычанье мира, в пене многогневья,
в краю, у Бога взятом Сатаной,
все ж слышу — умиление псалмопевья

той, самой первой, мессы островной,
все ж слышу — искаженный Глас Господень,
зовет к любви — небесной и земной...

Озирис, Яхве, Иегова, Один...
История не учит ничему.
Не выбирая пращуров и родин
на свет родясь — рождаемся во тьму,

и длится, длится Сотворенье Мифа,
чтоб оправдать абсурд и кутерьму.

...гул океана за барьером рифа
в басовом сочиняется ключе.
Орел красноголовый — родич грифа —
завис над Кубой, как в параличе,
и озаряют жречество момента
лучи от Сьенфуэгоса и Че.

По норме беспартийного процента
наперстком кофе жажду утолю.
Со лжи святой веками длится рента,
да ведь и та сведется к «у-лю-лю»,
явив, что куб нуля, и экспонента,
и корень из нуля — равны нулю.

ТОТЕМ

Устав себя записывать в нули,
но не найдя в отчизне единицы,
Стажер замыслил на краю земли
в немыслимых просторах заграницы
понять себя и угодить себе.

В конце концов, ведь странствуют же птицы,
покорные скитальческой судьбе!

У каждого свой шанс уйти из дома:
я был на Кубе, — он попал в Кобэ.

(Всем эмигрантам и купцам знакома
та, по щеке Земли, стезя слезы,
из революционного содома
сползающая к югу, до Янцзы,
и ниже до Австралии, а ниже
уж некуда — здесь самые низы...)

В конце Времен о Днях Суда, они же
те Дни, когда разверзнутся гробы,
токийская и франкфуртская биржи
нам вострубят истошнее Трубы.

Конец Времен наступит не в России
посредством отделения Тувы...

Но разве не качаются Весы, и
не налицо трясенья, глад и мор?
Не время ль поспешать к Суду Мессии,
хотя б ползком, сквозь лед и нежить гор?²
Нет веры! И другого нет порыва,
чем сослепу нашаривать топор...

Чуму не лечат вскрытием нарыва,
и, собственно ненавистью сыт,
он понял, что душа — на точке взрыва,
что клапан воли наглухо забит,
что не спасет ни новый благодетель,
ни пенсионный монстр, ни замполит,
ни ультра-перестроечный радетель,
ни супер-мудрый член Политбюро,

и он, былой *Стажер*, тому *Свидетель*,
как все в рулетке ставят на зего
или играют в русскую орлянку,
где куш — не герб, не решка, а «ребро».

Чтоб ненависть не расколола склянку,
которую, шутя, душой зовем,
он, *Очевидец*, съездил на Казанку
и там навел мосты на окоем,
но, прежде чем убраться восвояси,
все ж постоял на кладбище *своем*.

И вот он вновь, уже в японском трансе,
в Кобэ, и начинает вечереть...
Он затерялся в заполошной массе;
с утра попав в татарскую мечеть,
днем навестил он Храм Тысячеликой,
и к вечеру умаялся *смотреть*...

Он замышляет книгу... Мощью дикой
в мозгу перетревожив тыщу тем,
пред ним — в знак дружбы со страной великой —
индейский пестрый высится Тотем...

Напишет — так прочтем, не в этом дело.
Не оттого сомненье, а затем,
что слишком уж Япония задела
в нем веру в силу наций и племен,

в единство без упрёка и предела,
в то, что родной народ, и только он,
достоин поклоненья и доверья
особенно вблизи Конца Времени...

Тотем — знак рода, изваянье зверя,
единства крови ранний оселок...
Он высится, собой пространство мера,
Орел мадьярский или тюркский Волк,
или, верней, пратюркская Волчица...

Тотем, когда ты — идол, где же Бог?

Свидетель, что с тобою приключится
в миру, раскрытом настежь пред тобой?
Помянется ль венгерская горчица
на Фиджи, над лагуной голубой,
ты волен быть собой — тянись по росту
туда, куда назначено судьбой...

Валюты приработал по знакомству,
иной — компьютер купит, но не ты.
Не потому, что склонен к скопидомству,
а потому, что детские мечты
заманят в путешествия; капризы
оставим для обкомовской четы,
повадившейся задарма в круизы;
мы обойдемся малым — на гроши.
Есть адреса, есть вызовы, есть визы,
и есть, опять же, склонности души...
И книгу об Изгнании татарском,
будь честен, без расчета напиши...

О том Изгнанье, что пришло на Арском
казанском поле с символом Креста,
которое в кремле, на въезде царском,
прокусывало до крови уста,

которое не поимело срама,
вновь обживая чуждые места...

Но тем же самым именем Ислама,
которым выжил изгнанный народ,
прошу, не оскверни души и храма,
той ненавистью, что тебя влечет
под видом тьмы и тьмы соблазнов Зверя,
под видом лже-единств и лже-свобод...

Ты вышел в путь, лишь недовольством мера
свою судьбу, — на вольные хлеба.
Но за тобой не затворяю дверь я,
вернешься, если вострубит Труба.
Оставь незрячим удали лихия,
исхода нет — натешится злоба́...

Ступай на свет! Рыдай или проси я,
Льстец, так и так, присутствует в миру.
Когда ревет вселенская стихия,
ей все равно, что жив я, что умру,
но, ведая, что в мир сошел *Мессия*,
рвись в небо, словно волны на ветру.

САД

«Я ночевал в мечети Яссави*
во Франкфурте-на-Майне, близ вокзала,
в квартале платной голубой любви.

В ночь зацвели каштаны. Глаз Даззала**,
чью власть над миром до Конца Времен
Священное Писанье предсказало,
заглядывал в окно: сверкал неон —
рекламы кабачков, бильярдных, порно —
цветных витрин; рыдал аккордеон
от ностальгии, но и это вздорно, —
скажу я, — зренью тесно в темноте,
зато мировоззрению — просторно.

В опрятности и строгой чистоте
я снова — на ночь — преклонял колени.

Иисус Христос не умер на Кресте.

Я мнил, что жив: моих кошмаров тени
шепнули напоследок — «будь в бегах»,
верней, «рви когти из великой фени»,
тем подсказав, что правда есть в ногах,
когда уходишь, чтобы всплеском Света
промыть разор, гнездящийся в мозгах.

В стране Советов не спрося совета,
впрок не спросясь и не заняв ума,

* Ходжа Ахмед Яссави — великий суфий и поэт. По достижении шестидесяти трех лет стал жить в земляной яме, так как не хотел ходить по земле дольше Пророка ислама.

** Даззал — Антихрист.

без денег и обратного билета,
просроченного и уже весьма,
я мнил, что жив, как дерева и реки,
мнил, что на время отступила тьма,
что мир велик, что всюду — человеки.
что наконец увижу Южный Крест:
и все то было правдой в кои веки.

Когда не выдаст Бог — свинья не съест.
Какую мудрость ни возьми девизом,
доверясь тяге к перемене мест,
да как ни странствуй — верхом или низом, —
душа ко впечатлениям чужбин
привыкнет спрехвала, как паспорт — к визам,
и бдительность — не выказать слабин! —
пройдет, что блажь, и оживут взаправду
какой-нито Бангкок или Харбин,
где все равно с душой не будет сладу,
но вовсе не затем, что, захандря,
захочет воблы вместо мармеладу...

Во мне был Сад, и в нем была заря:

*в нем развиднялось, брезжило, светало;
он жил, простор свой настезь отворя,
но все одно мне света было мало,
чтоб отличить созвездья от гроздей
цветочных, закипающих устало
от сотворенья мира... О, глазей
в себя, покуда выдалось мгновенье
остаться без врагов и без друзей,
наедине с зарей, где единенье
с Создателем обещано в Саду,
хранящем голос, отблеск, дуновенье,
случайность, вспышку радости, беду,
все чаянья, каким — пусть быть — не сбыться,
тропинку, по которой я иду*

*вверх, если вниз; которой сладко виться
то по ручьям, то о-бок озера.
чье зеркало вернет родные лица,
не отразив лишь моего лица...*

Гляжу в себя — и различаю Древо;
и — словно на молитве, близ конца, —
благословлю направо и налево
все, что живет: деревья и ростки,
пустые нивы в ожиданье сева,
мирскую жатву счастья и тоски,
судьбу, в которой лишь Единство Бога
в цветок соединяет лепестки...

Любимая, поговорим немного.
Ты знаешь — я молился Деревам,
но вымолил: мне явлена Дорога,
не внятная ни числам, ни словам,
ведущая — невесть куда покуда,
одно лишь ясно — не по головам.

В мечети Яссави, в квартале блуда,
скажу, как тот, кто вынес треть пути:
начнешь молиться — не случится чуда,
но хоть поймешь, что надобно — идти,
и поначалу — просто прочь из Круга:
я повторяюсь, Господи прости.

Круг — это где ни Запада, ни Юга,
есть только центр, в котором все узлы.

Любовь и плоть моя, душа, подруга,
обычай зол, не то чтоб люди злы,
и мне ли нынче голыми руками
вытаскивать им угли из золы?

И как решиться — не обиняками,
во всей святой и ясной простоте

поведать — искаженную веками
быль об Иисусе, Боге и Кресте?

Однако нужно продолжать Дорогу
от слова к слову на пустом листе...

В Саду — темно и звездно; понемногу
начнет светать от сердца до чела:
когда я славу возглашаю Богу —
одиннадцать по три — Субхан Алла —
оно — гроздь света, от него — свеченье:
свет, свет и свет, и мысль — на миг — светла...

И с нею — шаг из Круга: отречение
от ложных правд, насущных, словно хлеб.

Как сокровенны в слове «отлученье»
свой луч! — свой путь; увидит, кто не слеп.

Гляжу на небо из окна мечети —
и вижу, как впервые, лунный серп...

Треть позади — передо мной две трети
пути на Вифлеемскую звезду.

Чужбина. Не проставлен срок в билете.
Лишь тем и жив, что с миром не в ладу,

да тем, что есть на том и этом свете
мой Бог, мой Сад — и ты в моем Саду.

КОЛОДЕЦ

Когда он хочет возвратиться в Сад,
он шепчет по-арабски: *...куль агузу...
...мин шарри хасидин иза хасад...**

А если нет, смекает, чем — Союзу
обязан он, и чем — Политбюро,
чем — Златоусту, чем Экибастузу...
Счастливым детством? Это уж старо,
куда ни глянь — сплошные Карабахи,
бескормица, безрыбье, недобро.

Что нажито за жизнь? Две-три рубахи,
да дебри Сада, спавшего в тиши.

От Hauptwache до Konstablerwache**
проходит он, и в сумерках души
честь прячется, как непричастный чукча
промеж Степанакерта и Шуши.

Так и блазнит, чудя, калеча, муча,
желая и в Париж, и в Уренгой,
вся эта кукарача и качуча,
которую в стихах зовем судьбой:

за что ни ухватись — ползет и рвется,
куда ни денься — все твое с тобой.

«Когда домой товарищ мой вернется,
за ним родные ветры прилетят...»

* ...я ищу прибежища... ..от злобы завистника, когда он
завидует... (Священный Коран, сура «Рассвет», 113.)

** Станции метро во Франкфурте-на-Майне.

и шепчешь, как из глубины колодца:
*...мин шарри нафассат-и-филь гукад...**

Дыханье Зверя — жаркий вздох соблазна.
Господь Зари, пусти на время в Сад!

Отсюда, где вся ярость мысли праздна,
лукава и сводима к *s'est la vie*,
верни меня в столетие Ибн Хазма,
в суфийский век, всегда живой в крови,
где пращур мой, еще не инородец,
последовал примеру Яссави, —

сойдя навеки в собственный колодец,
избавясь тем от всех мирских потуг,
вполслепа — от видений до бессонниц —
он, глядя ввысь сквозь слезы, видит вдруг,
как ласточка. гоница Божьей воли,
пересекает мельком светлый круг...

Создатель мой, ты создал Древо Боли.
Господь, я весь — страдание Твое.
Мелькнула жизни! Но не довольно, что ли,
и огненного следа от нее?

Благословенны и Твои молчанья,
мучительные, словно бытие.

Тебе лишь надлежат все величанья:
как нынче — тень от ласточкиных крыл,
в года хандры, гордыни и серчанья
со мною Ты молчаньем говорил...

Приснилось мне, что по навету злому
в огонь был ввергнут Ангел Азраил...

* ...от тьмы, когда расстилается она... (Священный Коран, сура «Рассвет», 113.)

...взвивается по жерлу золотому
жар пламени, и в эти-то часы
таскает воробей в огонь солому,
но ласточка, изделие Исы,
гася огонь, бушующий в колодце,
все носит в клюве — капельки росы...

— О, ласточка! — был голос ей. — Как солнце
пылаю я, и бесконечен срок;
тебе ли, смертной, с пламенем бороться?
Мученья сокращает только Бог!

— Конечно, но... — прощebetала птаха, —
теперь ты знаешь: ты не одинок.

...Душа жива касанием Аллаха.
Лукав мой разум. Плоть моя слаба.
Кто жив еще — тот не избегнет краха.
Я думал, что обманута судьба,
и время нечувствительно промчится
в гробу, пока не воззовет Труба,

но здесь вчера опять была Волчица,
зверь знойного соблазна, зверь ночей,
в лицо дышала, — наплывали Лица
из звездной пустоты ее очей!

Господь, я сознавал с Тобой разлуку
все ярче, отчужденней, горячей,
но понял, прокусив до крови руку:

Ты так Всезнающ, Милосерд в мирах,
что вновь для счастья посылаешь муку,
мученьем смертным отнимая страх...

*...любовь былая, пламень в море дальнем,
хазарский лотос на речных ветрах...*

*И я, и ты — мы скоро перестанем,
но муки Бога горше и сильней.
Мой прах пребудет почвой, деревом, камнем,
тебе же — возвращаться в пламень дней
всей бедной страстью, всем, что вправду больно,
всей ласточкиной помощью своей...*

Как ни спеши — стезя всегда окольна.
Надев себя, как старое пальто,
на паперти, посередине Кёльна
он перестал спешить куда-нито.

Сквозные шпильки над стеклом Bahnhof'a*
просеивали свет, что решето.

Над Кёльном, колокольно, как Голгофа,
взрастал Собор, и мир гремел вокруг
средневековым хором Карла Орфа,
берущим Князя Мира на испуг,
сулящим неизбежность наказания
для всех, кто смеет заступить за круг...

И он сказал: «...все модные терзанья
на колесе судеб две тыщи лет
исходят из бесплодного дерзанья
проделать путь Христа — сквозь Пекло в Свет;
найти свой крест и донести до Славы,
мня, что тропинки вниз — с Голгофы — нет.

От школьника до лидера державы,
все в этой жизни метят в небеса
в единственном числе, и в этом правы;
пространство рвут на части голоса;
две тыщи лет последствия кровавы,
и замкнут круг, что обод колеса...»

* Bahnhof — вокзал (нем.).

ЗВЕРЬ

Не говори, что я один вдали.
Ты женщина, ты чувствуешь, где больно.
Подошвы утоплю в земной пыли
или натру обновой мозоль, но
со мною — Сад: войду или влечу,
а выйду там, где мне вольно́ и во́льно.

Но все ж идти стараюсь по лучу,
вдруг отлучившись из вранья и страха.
Ты помнишь Будапешт? Я не хочу,
но помню, как тесна своя рубаха,
когда в ночи привидится стукач,
и весь ты — от крутых мозгов до паха —
ничтожество, слизняк, фуфло, трепач,
горошина, затолкнутая в ступу;
все мысли тотчас врассыпную, вскачь,
как цирк блошиный, а взгляни сквозь лупу,
они пищат: не мучайся виной,
знай свой шесток и поклоняйся трупу.

Я одинок — Сад странствует со мной.

Пусть память о Вруне ползет и рвется,
живет в душе какой-то зверь иной,

блязня: «...как жаба в глубине колодца,
без Бога и родного языка,
живи, не смея предка-инородца
вслух помянуть, а лишь исподтишка, —
чтоб не задеть историю Державы,
в глаза тебе плюющие века...» —

шипя: «..колодец пуст, и стены ржавы,
и — дел невпроворот у молодца —
свят-свят! царевич не упомнит жабы,
пропившись аж до царского венца.
Конец у сказки вышел без морали,
а ты попал в Свидетели Конца...»

хрипя: «...за что солдаты умирали?
Забыты эти кладбища во мгле,
в Москве, в Казани, в Курске, на Урале,
где соль земли опять лежит в Земле.
Пойди, снеси туда икону детства:
Климент, с клинком, на белом кобыле...»

Взову: «Дай, Боже, радостей соседства
сходиться невзначай вокруг стола,
ведь против лиха есть простое средство —
нос не совать в соседские дела,
промолвив одесную и ошую:

Саям Алейкум ва Рахматулла...»*

И я решил — все в прошлом затушую,
помимо Сада и того, что в нем;
и собственную душу небольшую,
куда приходит Зверь с утра и днем,
попробую лечить в изгнание светом,
хотя, по правде, надо бы огнем...

Вы мните, жизнь скрепляется сюжетом?
Неправда. Потому что — смерти нет.
Какой сюжет ни приживи при этом,
все просто, как рифмую «нет» и «свет».

* Мир вам и благодать Аллаха (арабск.).

Он мог бы выиграть миллион — за марку,
попасть в колонки мировых газет,
он мог бы также вляпаться в запарку,
сподобиться вербовки ЦРУ,
влюбиться в австралийскую татарку
и завести на ранчо кенгуру,
но это, ей-же-ей, намного проще,
чем ощутить бессмертие — в миру...

Под Сиднеем, в июльской зимней роще,
где эвкалипты ёжились, дрожа,
я тоже отбивался не на ощупь
от лести мифа, страсти миража.

За что ж герою претворенье Рая,
которое и мне — острей ножа?!

Когда-нибудь, всем телом умирая,
оглядываясь в забытии назад,
успехи и грехи перебирая,
пойму, что оставляю только — Сад,
что только Сад — воистину потеря,
и в том лишь боль, что в горечи насад
желаньями в свой Сад манил я Зверя,
который средь моих деревьев и рек
то в мех рядился, то в цветные перья,
блзня, что я всего лишь человек,
что я права имею жить в довольстве,
там, за буграми, в крае имярек...

Всего-то дел, возьми в любом посольстве
анкету и заполни, кто ты есть,
авось да не откажут в хлебосольстве,
авось да и пришлют по почте весть,
что ты свободен от своей удавки:
прими и распишись, сочтя за честь.

Все б ничего, но как припомнишь давку,
лай матерный и сумрак в головах,
и очереди к скользкому прилавку,
и не с кем говорить, и ох, и ах,
и это все, что до смерти покорно,
и в животе пустом — сосущий страх,
такая вдруг хандра возьмет за горло,
такая дрянь завозится внутри,
и все, что было ясно, станет спорно,
как Бог, что был — Один, а стало — Три,
и возопит душонка с перетрусом:
скорей бы уж хоть кто-нибудь — в цари!

Коль атеист, поклонись хоть гнусу,
хоть всякой твари водной и земной...

А если обернешься к Иисусу,
не сам ли он взмолился: «Боже мой,
промысли так, чтоб эта Чаша с Ядом
мой слабый дух минула стороной...»

Вернешься ты, и жизнь вернется Адом.
В твоём Саду осатанеет Зверь,
рыча, что Чаша с Кровью и Разладом
едва ли минет стороной теперь,

и Кёльнского собора нету рядом,
чтоб отворить в тысячелетья дверь.

ТРЕНОЖНИК

В Москву вернуться — что в могилу лечь.

Но коли эта мысль краеугольна,
на что всей жизнью выстрадана речь?

А плоть и за границей беспокойна:
тщету, посулы чует за версту...

Фома Кемпийский, уроженец Кёльна,
в трактате «Подражание Христу»
со мною делит истину Ислама.

Святая ложь, как прежде, на посту.

Нас разделяют и века, и слава
Крестовых войн, но книги сей слова
обходят миф, что Истина — трехглава,
в ней тоже Бытие всему Глава.

Всевышний и Христос — одно и то же?
Мир создан Иисусом?! Ни едва,
ни на две трети, ни на треть, о Боже,
Тебя не уподоблю тьме людей:
где дышит плоть — там дышит смерть на ложе
из мертвых трав, соцветий и гроздей,
украденных из Сада, чью потерю
не возместишь, как в поте ни радей...

Я в сложность ради простоты не верю.
Три ипостаси — смутный труд ума.

Родство по крови есть родство по Зверю.
Родство по духу в том, что мир — тюрьма,

все тридевять земель не краше нашей:
Казань не злее Кемпена, Фома!

Восходит небо над узорной башней.
Вычитываю, умеряя прыть:
«Не жди Голгофы — не тянись за Чашей,
и знай — проклятье можно отмолить;
да не отчайся никакой безбожник...»

Москвой терзаться — что могилу рыть.

Жизнь лишена сюжета — как художник,
взирающий на белый свет сквозь Сад...

Он расставляет под холстом треножник,
мня сохранить навек то, чем богат —
воспоминанья, дерева и реки,
восход, в котором пламенен — закат...

С отчаяньем похмельного калеки
и я не раз решал, что мне конец.
Мои «хочу» рвались из-под опеки,
и каждое гремело в бубенец
о том, что на вершине восхожденья
плоть ожидает жертвенный венец..

Но вот они, художника раденья:
он расположит на белье холста
весенний Рейн и смертные виденья,
чтоб в сердце перестала пустота:
а если б он, чтоб взять побольше света,.
хотя бы шаг отмерил от Креста?

Он в холст вмещает приближенье лета,
растенья, светотени, облака,
небесный строй, где истина рассвета
присутствует, хоть и темно пока,

но, приближаясь постепенно к краю,
он спросит вдруг — куда течет река? —
и проследит ее движение к Раю
сквозь океаны, земли, небеса,
сквозь все, что есть (я слов не выбираю),
и в том числе сквозь космос и леса,
и враз постигнет, если впрямь художник,
и каплю, и земные полюса,
и ход комет, и пыльный подорожник,
в анналах не оставивший следа...

Да разве, Боже, выдержит треножник
все Созиданье Твоего Труда?!

Так постигал я и Единство Бога
вне родины, в дни Страшного Стыда.

И знает Он, куда ведет дорога,
все сущее от света возлюбя:
через Голгофу вдаль спешит тревога,
и подтвердит Фома на склоне дня,
что нет в душе родства помимо Сада.

В Москву вернуться — как уйти в себя...

Во дни Стыда сумбур честнее лада,
на своды храма глядя изнутри,
и мой *Свидетель*, как один из стада,
взмолился бы, мол, пастырь, отвори,
когда бы единицу без остатка
он в целости умел делить на три...

О Господи, как пасмурно и сладко
цветет на Рейне чуждый сердцу сад!
Как дышат ветви, как мираж порядка
ум соблазняет посреди надсад,
как звонко мир над логикой смеется,
маня — хоть вниз, но лишь бы не назад...

И я гляжу, как пращур из колодца,
на светлый круг, где рейнские стрижи,
во мне не различая инородца,
вершат свои крутые виражи,
над куполами Кёльнского собора
надстраивая к небу этажи...

Распахнут мир — до самого забора
инога мира, и хватает мест,
и где-то там, уже в конце простора,
над океаном, плещущим окрест,
в забвении искания и стона
сияет достоверный Южный Крест...

Не надо ни побега, ни угона:
лети — и выбрось прочь из головы
бессмысленные башни Вавилона —
все семь громад языческой Москвы,
ты волен жить, и волен жить на воле,

но забывать не волен ты, увы...

Ты одинок, как сад во чистом поле,
никто тебя не нанялся беречь;
тебя не устеречь от смертной доли:
ты прекратишься, словно боль и речь...

Но просияет свет за смутой боли...

В Москву вернуться — что в могилу лечь...

ЧАША (томление)

Я так себе на свете надоел,
что и душа угодлива, как водня.
Чего я не допил и не доел?

Пророк (с ним мир и благодать Господня)
перед своей кончиной вопрошал:
«Где завтра буду я? Где я сегодня?»

Чем я себя еще не искушал,
на чем не обжигался так по-детски?
Какой придумкой жизнь не украшал?

И Кёльн, и Франкфурт вольно и простецки
на ста языках разомкнут уста,
но промолчат, коль надо, по-немецки.

Так отчего душа моя пуста?!

На Рейне, в Кёльне, в «маленьком Стамбуле»
меня встречает Музаффер-уста*
горчайшим кофе; в вавилонском гуле
двунадесять языков гомонят
о деньгах — всякий при своем посуле;
опять Сенной базар: турецкий ряд³.

Бюль-бюли — соловьи всеюрокской речи,
не колыхнув листвы, впорхнут в мой Сад;
усядутся моим теням на плечи,
восщелкают крутые времена,
когда корабль еще не чуял течи,

* Уста — мастер, почтительное обращение (*турецк.*).

я говорю, когда плыла страна
казанская на минареты Коньи,
стамбульской славой вскользь озарена...

Но следом в Сад ворвутся злые кони,
истопчут мураву, сомнут кусты;
надменные, в пылу глухой погони
не пощадив в Исламе красоты,
умчатся прочь, — над брошенной Казанью
останутся забвенье и кресты.

Се, соловьи, отбаяв гимн Изгнанью,
вновь щелкают сквозь сигаретный дым...

Мы празднуем родство по обрезанью
и по тому, что пьем и что едим;

да здравствует всетюрокское единство!
«Daha ne istiyoruz, efendim?»*

Мне не до смеха. Это же мздоимство —
алкать любви и братства задарма
в кругу родства по крови! Нелюдимство,
дервишеские посох да сума —
да прочь из круга, в коем все дороги
ведут в Стамбул и Конью на корма...

Благодарю посильно все пороги
кофеен и кебабных — за приют,
за щедрый хлеб, за щедрые тревоги,
за то, что есть и в миражах уют,

что минареты над Эгейским морем
перед глазами призрачно встают,
когда душа полна неясным горем,

* Что еще нам угодно, господин? (турецк.).

оно же — блажь, юродивость, хандра,
чем за бугром легко себя задорим,
когда уж ясно, что домой пора,
да где там дом? — не обойти забора:
в свой Сад заходим с заднего двора...

Спаси нас, Боже, от властей и морал
Зову Тебя, входя в свой Вертоград
хотя б сквозь двери Кёльнского собора,
в тысячелетний полумрак и хлад,

где Дева и распятыя терпеливы
двадцатое столетие подряд...

Мой Сад, разлад мой, пасмурные ивы
над прахом предков, в проблесках седин
шуршат, как гефсиманские оливы,
когда все спят, а Он — опять один,
отдавший все в обмен на чашу скорби...

Зачем я здесь? В лютейшей из годин
Германия надеется на Горби,
шлет подаянье, чтоб скрепить Союз,
где хлеба, что песка в пустыне Гоби,
да нет в помине рукотворных уз;
зачем я здесь? зачем я там? Нигде же

с Креста в глаза не смотрит Иисус.

Мне детство вспоминается все реже;
все режет по живому — взгляд, упрек,
поступок и проступок; на Манежной
крутого честолюбья снежный волк,
и не упомяну ни одной минуты,
когда я был — и был не одинок...

Аллах — Всевышний — упаси от смуты!

Душа моя разъята на куски,
не потому, что времена так круты,
а потому, что мозг зажат в тиски:
слова, как розы в миг полураспада,
теряют смысл, тепло и лепестки...

Яви душе моей Единство Сада,
свое Единство, Господи, Творец!
Мне в мире ничего уже не надо,
блажь отгремела, словно бубенец.
Но пронеси неслыханную Чашу
Конца Времен, когда пришел Конец...

Да, мы и заварили эту кашу.
Сварили зелье — совесть нечиста.
Неужто же мольбу глухую нашу
не примешь — так же, как мольбу Христа?

Неужто же с Голгофы нет исхода,
как избавленья не было с Креста?!

Свидетель злого нищенства народа
и Очевидец Страшного Суда,
взгляни, как немцев балует природа,
как в Рейне полно плещется вода,
как расцветают яблони, не веря,
что вдруг пришли Остатние Года...

Былая жизнь, сплошная ты потеря,
досада и печаль: была и нет...
Так жили-были, по соседям меря,
чего нам недодали за сто лет;

но кто почувал приближенье Зверя?
(Печать Аллаха на Звериный След).

ЧАША (распятие)

Ты проглядел, *Свидетель*, все глаза,
пока в Отчизне выплакали очи
на лики, ордена и образа
пророков и предстателей... Короче,
пока молились знакам в пустоте,
да так, что и молить не стало мочи.

Их множество, но все они не те,
когда стоят промеж тобой и Богом:

Иисус Христос не умер на Кресте.

А посему — вся жизнь была прологом
к тому, чего глазам не увидеть,
чего не изложить житейским слогом,
чего не укупить и не продать,
что уловимо только зреньем сердца
и потому зовется — благодать...

О Господи, яви единове́рца
из очевидцев Страшного Суда,
что крестный путь Святого Стратотерпца —
через Голгофу — долгие года
еще продлился — в Индии, в Кашмире,
среди мук и мессианского труда!⁴

Но там, где тайно грезят о кумире,
где в небо шлют посредников тишком,
боясь, что слишком пакостили в мире,
чтоб к Богу обращаться прямиком,
такую буду яростью обложен,
что проще враз облиться кипятком...

Аминь. Безбожный опыт подытожен.
Дорогою Бог ведает куда
иду, и сколько этот мир ни сложен,
он только испытаний череда.

Нет никого меж мною и Всевышним;
так я свободен не был никогда...

Сюжет, интрига, жанр — все стало лишним,
когда с Голгофы есть исход в труды:

Свидетель, подивись германским вишням,
зацветшим у торжественной воды:
весь мир — един, как зеркало Аллаха,
и Рейн струится в горние Сады,
впадая в небо со всего размаха,
как день впадает в год, а год — в судьбу,
а страхи Карла Орфа — в страсти Баха...

Среди квази языческих табу
нет меры ни деньгам, ни празднословью,
но жизнь — жива, как Иисус в гробу,
вращаемый бесстрашьем и любовью:

кому потребен одинокий склеп
в ночь на субботу, темную и совью?..

Пилат был осторожен, но не слеп,
чтоб не увидеть в Иисусе — Света:

«...жене приснился сон — он был нелеп,
как, впрочем, сам пророк из Назарета;
молила о пощаде жизни сей;
и тот, Аримафейский, член Совета
Иосиф, чуть ли сам не фарисей,
просил... Сны — спорны, явь — неоспорима,
не хочется никак дразнить гусей:

опять гогочут о спасенье Рима —
«Распни, распни его!» И мы распнем.
Но — в Пятницу, часа на три, терпимо,
пусть повисит им на потеху — днем,
а на закате — праздник и Суббота,
кому вдомек печалиться о нем?
Блюсти Закон Субботы — вот забота,
а по Закону — техника проста:
запретна казнь, как всякая работа,
а посему — казненных снять с Креста,
для верности сломав им ноги, или...»

«Эли, Эли! — уже спеклись уста, —
лама савахфани...»⁵ Они — убили.
Неужто ж гефсиманские часы,
молитвы, слезы, скорбь — крупницей пыли
легли, не в силах колыхнуть Весы?
Молю, в жаре и горе умирая,
жар остуди — хоть капелькой росы!»

И — над библейской выжженностью края,
над пощаженной овцами травой,
буграми, что лысели, выгорая,
и над Голгофой, то есть Головой,
вдруг содрогнулись небеса от ливня,
и слой земной в сердцах нашел на слой...

Сгустилась тьма. И холмы, и долина
в грозе землетрясением грозя,
вновь дрогнули — и зрителей лавина,
по глине, в страхе — вниз и вниз — скользя,
скатилась в город, к Пасхе, к опреснокам,
во тьме Субботы пропустить нельзя:
накажет Бог, и праздник выйдет боком.

Осталась лишь языческая рать,
люди провожая недреманным оком.

«Добить распятых!» Голени ломать —
обыденное дело при распятыях...

Все, все сошли с горы — и даже Мать,
не говоря уже о кровных братьях.

«Ученики... Апостолы... Сошли...

Один — в злословье, в муках и проклятыях.
Один — среди людей своей земли,
где «проклят всяк, повешенный на древе»⁶ —
сим умерщвленный: Господи, вдали,
в дверях бессмертья не встречай во гневе,
за то, что, искушенья не стерпя,
угворят молиться мне и Деве...

Я ныне вижу все — через Тебя.

Возвал я — Ты услышал, Авва Отче!
В тех, гефсиманских, кущах, торопя
Твое Участье, я страдал жесточе
сомненьями, чем язвами креста...

Молю всей жизнью — сделай путь короче
в обитель ту, что от страстей чиста...

На счастье — Муку шлешь: сквозь слезы четче —
Свет, Милость и Любовь — дорога та...»

ЧАША (избавление)

— «Он умер». — «Как, уже? Но как он мог?
На то и крест, чтоб на неделю мука!»
— «Он мертв, затем и не сломали ног».
— «Ах, так...» — «Он мертв, тому легионер порука,
который уколол его копьем:
распятый мертв, — он не издал ни звука».
— «Я не велел снимать его живьем».
— «Нет, прокуратор. Но и мне не внове
трудиться с прокуратором вдвоем
во славу Рима в Иудее скорби.
Он мертв». — «Итак, закрытие трех дел».
— «Вот разве только истечение крови:
кровь не течет струей — из мертвых тел.
Но, впрочем, там недоставало света...»
— «Где тело?» — «А его забрать хотел,
коль помните, Иосиф, член Совета.
Вне подозрений — честный иудей.
Он схоронил в своей гробнице где-то,
и рядом не замечено людей.
Лишь тени в белом, но они — лишь тени
без имени и без своих идей...»⁷

Свидетель, в рейнских вишнях и сирени,
вблизи Собора и Конца Времен,
сопоставляй события до мигрени:
куда идти? На юг — синедрион,
на запад и на север — вновь распятя,
лишь на восток и мог податься Он...

Проверь, *Свидетель*, прежние понятия:
в Эммаусе, держа свое в уме,

воскресшего, его кормили братья,
Он ел — Пророк, Учитель, Свет во тьме,
Он шел пешком и ждал их в Галилее,
и язвы от гвоздей являл Фоме.

Ветр с Рейна цвет вишневый по аллее
разносит с белозвездного куста...

Блажен, кто ищет истины в елее,
блажен, кто вдаль уходит от Креста,
и жизнь — жива, как мученик Иона,
три дня и ночи в чреве у кита...

«Вникаешь в Сад, и, жмурясь ослепленно,
отождествляешь в радуге ресниц
пунцовый блеск таежного пиона
с тропическим багрянцем заграниц, —

и, словно вал вселенского сознания,
восходишь в небо — простираясь ниц...

И вот — горит сквозь облака и зданья
другая скорбь — заря ль моя, свеча ль?

Свет Истины! К чему мне это знание,
и без того тесна моя печаль,
и без того хандра моя нещадна,
люта, предсмертна, как родная даль...

Бьют по лицу наотмашь ветви Сада,
когда идешь сквозь мрак — на Южный Крест,
на детские мечты, на рок Синдбада,
считая *ходом* — рокировку мест:

еще не зная, что соблазн чужбины —
лишь макияж на ярманке невест.

...Когда глядел из аэрокабины,
за деньги вознесенный к небесам,
я мнил, что нахожусь в струе стремнины,
и, сводный брат обоим полюсам,
я озираю всю землю как родную,
века сверяя по ручным часам.

Я сам себя к минувшему ревную.
Как даль была проста, ясна, свежа!
Я совесть, как игрушку заводную,
подкручивал, усилием небрежа,
да пережал пружину ненароком:
весь мир — отчизна, родина — чужа.

Любое знание мне выходит боком.
За каждый переезд и перелет
родной ли край, замучен чуждым роком,
убить — окстится, но распять — распнет?

Не отыскать в Единстве середины:
никто не знает, где и как умрет.

Цветов ежевесенние родины
рождают боль — от Кубы до Кобэ;
покуда Волга тащит в море льдины,
Рейн празднует весну сам по себе,
но здесь и там, где ни ищи опоры,
святая ложь играет на трубе.

А боль цветет, а боль рождает споры,
рождает тяжбы, ярость и хандру...

Что изменилось в мире? Те же горы
и те же доли, та же даль в миру,
и те же духа тяжкие усилья
взойти, как цвет вишневый на ветру...

Как снятая с Креста, жива Россия.

Но вывод, как и прежде, свято-лжив.
Ну что с того, что чаемый Мессия
сошел живым с Креста: опять надрыв,
опять — «тьмы низких истин нам дороже»,
и снова жить, всей лжи не отмолив?!

Свидетельствую днесь: все строже, строже
и все неотвратимей День Суда.

Никто же нынче не истец твой, Боже,
и я ответчик — за свои года,
за страх перед людьми, однако ныне
уже бояться некуда — куда?

Куда уж дальше? Кто еще в помине?
Кто в горечи да на свою беду
не пьет из Чаши собственной гордыни
забвенья дней, когда оно — в Саду,
а Сад — с тобою навсегда и дальше?
Всего и надо — с правдой быть в ладу.

Ты выпьешь все, что намешалось в Чаше.
Но горечь — это знак, что смерти — нет.
Что жизнью наворочено — то наше,
и будет только боль и боль в ответ:

Господь, при свете правды мир не краше,
но без нее — не дай мне долгих лет».

ДЕНЬ ЖИВЫХ

«Разомкнут круг, и вот — ни слов, ни вех.
Лишь иногда зову любовь с дороги.

Мир полон расстояний лишь для тех,
кому в нем мнятся идола и боги.
Я ниц и не боюсь мирских потерь...

Лжет слух, лукавит зренье, часто ноги
несут туда, где лишь блазнится дверь
в другой мираж, и, как ни грезь спасеньем, —
со всех сторон навстречу дышит Зверь.

Лжет даже твердь, грозя землетрясеньем,
лжет вера в кровь, в чужбину и в народ,
лгут деньги и смущают опасеньем,
что Зверем запечатан оборот;
я ниц и слеп — порхает свет по векам,
но внутри очей никак не попадет...

Ни верю ни себе, ни человекам,
и на исходе двух третьей пути
душа родня лишь деревьям и рекам
в просторах Сада: Господи, впусти
меня в мою же собственную душу!

И бьюсь в себе, как бабочка в горсти....»

Свидетель, мы прошли моря и сушу,
насколько разум подвигал к тому;
я нашего молчанья не нарушу,
мольбу о Чаше на себя возьму;
зачем в душе заглох мотив Изгнанья, —
не объяснить стороннему уму.

Пропало ощущение опоздания:
пускай без нас уходят поезда.

Ведь ложь святая подменяет знания
везде, куда ни занесет езда,
и нам довольно глубины колодца,
пока над головой горит звезда...

Святая ложь повсюду вместо солнца
и предлагает, если что не так,
взамен Единства — идола-уродца,
крест, серп и молот или прочий знак,
и, разделив людей, рождает смуту,
а вслед за нею наступает мрак...

И люд, не склонный к мятежу и бунту,
уже бежит, бросается подряд
в купе, в аэрокресло ли, в каюту
и мчится прочь, вперед или назад
уже не важно — к Рейну или к Инду —
спастись, укрыться, затомить разлад!

Люд снова прав. Люд празднует обиду,
как в юношах — обманку злой любви.
Пусть преуспеет — ну хотя бы с виду —
но с памятью не сядет визави,

иначе вступит в кровь сиротство Сада,
как стало то в мечети Яссави.

Не становитесь, выпав из разлада,
собой самими — горше доли нет:
отступит все — талант, судьба, услада
присвоенной свободы — вступит Свет,
и взбесится сюжет, разрушит клетку,
все замыслы истопчет в полный бред...

...мечась по Саду, вдруг отвел ты ветку
и всколыхнул беспамятства дымок,
и обнаружил, прочим на заметку,
что ты везде постыдно одинок,
что мысль, в бега погнавшая, остыла:
ее ли прежде обороть не мог?

В отчизне все, как повелось, постыло
и скверно, как не изобрести врагу:
но «есть» так быстро переходит в «было»,
что умираем прямо на бегу,

нас манит вспять, но не святою ложью, —
татарским скудным кладбищем в снегу.

Свидетель, мы привыкли к бездорожью,
по жизни приближаясь к двум третям,
но вяли, что, склоняясь к многобожью
и жертвуя сердца слепым смертям,
мир мчится мимо, нас не задевая,
и жмутся люди по своим клетям.

В Дни Страшного Стыда, в мгновенья мая,
на Рейне ли, на Майне, где-нито,
помстилась нам отрада дармовая
хоть раз пожить, *как люди*, и за то,
как за презренье к стилю и сюжету,
помимо Бога, не простит никто.

Но кто и вправе призывать к ответу
за свет в ночи, заметный за версту,
за эту нелукавость рифм и эту
неяркую метафор простоту?

Никто ж из тех, кто в смертном видит Бога,
Единством мира жертвуя Кресту...

В кровь обдеремся — так легла дорога
сквозь чащу грозных образов нуля,
где заменяют нам лукавство слога
чересполосно небо и земля,
но каждый шаг ведет к Единству духа,
а мир не видит, о своем скуля...

Вовне людей — Сады, извне — проруха
пиров в годину Зверя: боль и блуд,
отечество — чужбина — проба слуха,
и всюду нуль к нулю слагает люд,
и всюду — люди, всюду человеки,
и для души повсюду лжив уют,

и где ни выбивал у кассы чеки,
где б ни молил заемных благ земных,
мир единят лишь дерева и реки,
Сады и наше претворенье в них.

Мы не сведем правдивее итога,
ни дома, ни в изгнаньях проходных.

В конце чужбины, как в конце пролога,
забресжил свет в моей людской тоске:
зачем же вспять меня ведет дорога
туда, где мир висит на волоске?

Но пусть молчаньем дальше длятся строфы.

След Иисуса явлен на песке
и в жизнь уходит от венца Голгофы.

1989–2003

*Гавана—Кобэ—Москва—Сидней—Мюнхен—Москва—
Лондон—Москва*

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

¹ (стр. 51) Начальник военной экспедиции для приведения чукчей в русское подданство в 1727 году, капитан Тобольского драгунского полка, Дмитрий Иванович Павлуцкий.

² (стр. 53) Согласно хадису (преданию о Святом Пророке ислама), мусульманин, услышав о явлении Мессии-Махди, должен немедленно отправиться в путь, чтобы передать ему приветствие Святого Пророка, даже если для этого придется ползти на коленях через ледовые перевалы.

³ (стр. 73) Сенной базар — историческое место в Казани, описанное великим поэтом Габдуллой Тукаем, — символический образ невежества, религиозного фанатизма и продажности всего и вся.

⁴ (стр. 77) В столице Кашмира городе Сринагаре до сих пор стоит гробница, которую многие считают гробницей Иисуса Христа. Иисус, как полагают, мог пойти в сторону Афганистана и Индии в поисках пропавших в эпоху вавилонского пленения израильских племен. В чертах и обычаях жителей Кашмира и афганских пуштунов и сегодня усматриваются древне-еврейские этнические признаки и традиции, вплоть до праздника опресноков.

⁵ (стр. 79) В основе этого видения евангельских событий лежит мусульманское прозрение о том, что Иисус Христос не умер на кресте, но был спасен Богом в ответ на Моление о Чаше — так же, как о том повествует двадцать первый Псалом Давида, начальные строки которого Иисус произнес с креста: «Эли, Эли, лама савахфани?»

«2. Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего».

Нельзя не заметить, что Псалом этот завершается осанной Богу и спасением, но никак не забвением страждущего, поскольку говорится в нем и такое:

«24. Боящиеся Господа! восхвалите его. Все семья Иакова! прославь его. Да благоговеет перед ним все семья Израиля!

25. Ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему».

Другие слова, произнесенные с Креста, это слова из тридцатого Псалма:

«2. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь век; по правде твоей избавь меня.

3. Приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердыней, домом прибежища, чтобы спасти меня.

4. Ибо ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.

5. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.

6. В Твою руку предаю дух мой...»

И этот Псалом, однако, говорит о спасении, поскольку сказано:

«23. В смятении моем я думал: “отвержен я от очей Твоих”; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе».

⁶ (стр. 80) Библейская фраза, благодаря которой казнь через повешение или на кресте считалась самой проклятой казнью из всех. Именно поэтому иудеи не могут уверовать, что пророк или сын Божий мог умереть через подобную «проклятую» казнь и, стало быть, оказаться проклятым Самим Богом.

⁷ (стр. 81) Поддерживает гипотезу спасения Иисуса и то еще, что единственным знамением своего спасения он привел знамение Ионы, пробывшего три дня и три ночи в чреве кита, но вышедшего к славе живым и невредимым. Наконец, слова евангелия об истечении крови из нанесенной копьем раны свидетельствуют о том, что сердце Иисуса еще билось, когда его в бессознательном состоянии снимали с креста: из мертвого тела не могли истечь «кровь и вода». Удивление Пилата, когда ему донесли о смерти Иисуса через три часа после распятия, выглядит несколько деланным.

Действительно, смерть на кресте обычно наступала через несколько дней — в этом и была причина позорных мучений и проклятие «повешенных на древе». Иисус же был распят в пятницу пополудни, когда Пилату было ясно, что всех казненных скоро снимут с Креста: оставить их было бы кощунством перед наступающей после заката Субботой. При этом снять их можно было, только убив — переломав голени. Иисус оказался избавленным от такой смерти.

Эти соображения позволяют предположить, что Иисус был снят с креста в глубоком обмороке, последовавшем за пресечением дыхания. А оно тотчас пресеклось, как только в непомерную жару к его лицу поднесли пропитанную уксусом губку. Пилат, жена которого увидела сон о святости Иисуса, мог, таким образом, участвовать в его спасении.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕНЬ МЕРТВЫХ

Древо Боли	7
История болезни	11
Странности	15
Татарское эго	19
Спиральный спуск	23
Вышеградское кладбище	27
Заступая за круг	31
Круг седьмой	35
Восточное письмо	39
Время действия	43

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

Сотворение мифа	49
Тотем	53
Сад	57
Колодец	61
Зверь	65
Треножник	69
Чаша (томление)	73
Чаша (распятие)	77
Чаша (избавление)	81
День живых	85

<i>ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА</i>	91
------------------------------------	----

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Б 94

**Бухараев Р. Моление о Чаше: терцины. — СПб.:
Изд-во «Пушкинского фонда», 2003. — 96 с.**

ISBN 5-89803-114-6

ББК 84. Р7

**Бухараев Равиль Раисович
Моление о Чаше
Изд-во «Пушкинского фонда», Санкт-Петербург, 2003**

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

**Издательство «Пушкинского фонда»
191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12**

**Тираж 1000. Заказ 114.
Отпечатано в типографии ООО «ИПК «Бионт»»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86,
тел. (812) 322-68-43**

